

да в росте националистических настроений интеллектуального сообщества до активной полемики в среде «мирискусников» по поводу ориентации на европейскую традицию и внимания к «народничанию»; мифотворчества Вяч. Иванова и констант символистской архаики, языковых экспериментов футуристов; «русского архаизма» дягилевских сезонов; открытия шедевров древнерусской иконописи и их воздействия на эстетику и технику авангарда. Подчеркнем, что каждый из сюжетов сам по себе чрезвычайно увлекателен и заметно дополняет историю литературы и культуры Серебряного века. Более того, обозначенные автором векторы движения русского интеллектуального сознания в эту эпоху имеют свое очевидное продолжение в постреволюционной ситуации конца 1910-х — начала 1920-х годов. Так, проект всенародного театрального «соборного действия», намеченный Вяч. Ивановым в статье «О веселом ремесле и умном веселии» (1907), получит отчасти реализацию в Невеле, где в мае 1919 года, по сообщению местной газеты «Молот», «ведутся подготовительные работы по постановке под открытым небом греческой трагедии Софокла „Эдип в колонне“ (так!). К участию привлечены учащиеся трудовых школ города и уезда, числом свыше 500. Постановкой руководят знатоки Эллады и Греции гр. Бахтин и Пумпянский».²

Не вызывают сомнений и место русской архаики в модернистском сознании, и интерес русского модернизма к национальной сюжетике. Но является ли этот поворот в действительности результатом предполагаемого автором отказа от имперскости в пользу «нациестрое-

ния»? Достаточно ли для того, чтобы утверждать универсальность феномена, отсылки к конкретным мнениям участников событий, даже если они находятся в «референтном поле» (с. 17), а их носители аттестуются как «представители экспертного сообщества» (с. 262)? Использование схем имперских и постимперских штудий ведет к упрощению реальной исторической картины. Не опровергает ли послыл автора о превращении Российской империи в государство нового (неимперского) типа с акцентированным «русским началом» вполне оформившееся понимание «русскости» и «русского народа» в имперском сознании С. С. Уварова с его триадой «православие, самодержавие, народность» или в «Пословицах русского народа» (1862) и «Толковом словаре живого великорусского языка» (1863–1866) В. И. Даля? Факты политической истории России, в которой будущий император Николай I говорит юному камер-пажу: «Благодари Бога за то, что ты русский»,³ плохо согласуются с теоретическими положениями о том, что империя Российская ничем не отличается от Британской. При этом автор отчего-то проходит мимо статьи В. С. Соловьева «Национализм» в Брокгаузе, хотя она более чем наглядно отражает реальное отношение к проблеме большей части мыслящего сообщества этой эпохи.

Однако теоретическая сомнительность конструкции не отменяет научной ценности представленного в книге историко-литературного и историко-культурного материала, а сама постановка проблемы, несомненно, заслуживает ее дальнейшей разработки.

³ См.: [Дараган П. М.]. Воспоминания первого камер-пажа великой княгини Александры Федоровны. 1817–1819. СПб., 1875. С. 25.

² Цит. по: Невельский сборник. СПб., 1996. Вып. 1. С. 150.

DOI: 10.31860/0131-6095-2019-2-207-211

© М. Э. Баскина (Маликова)

КНИГА Б. С. КАГАНОВИЧА ОБ А. А. СМІРНОВЕ*

Написанная Б. С. Кагановичем биография Александра Александровича Смирнова (1883–1962), крупнейшего специалиста по истории западноевропейских литератур, кельтолога, медиевиста, шекспироведа, редактора переводов, — небольшая (15 п. л.) книжка, вышедшая тиражом всего 200 экземпляров, — результат более чем тридцатилетнего самоотверженного труда историка, scrupulously обследовавшего московские и петербургские архивы в поисках материалов, имеющих отношение к Смирнову. Автор, уже имеющий опыт на-

писания монографических биографий ученых (С. Ф. Ольденбурга, Е. В. Тарле), поставил себе задачу «восстановить с надлежащей полнотой историю жизни и деятельности А. А. Смирнова, привлекая возможно более широкий круг печатных, так и особенно архивных материалов. Такое исследование, наряду с внимательным прочтением трудов Смирнова в соответствующем контексте позволит <...> глубже понять и оценить А. А. Смирнова не только как ученого и литератора, но и как человеческую индивидуальность и определенный культурный тип, воплощенный в нем с большой яркостью» (с. 9). Эта задача предполагает строго фактографическую реконструкцию прежде всего научной стороны биографии Смирнова

* Каганович Б. Александр Александрович Смирнов. 1883–1962. СПб.: Издательство «Европейский Дом», 2018. 240 с.

(его поэтические и шахматные опыты только упомянуты), с минимально необходимыми интерпретациями. Книга Кагановича — труд профессионального историка науки, а не филолога или культуролога, в ней почти нет филологического анализа работ Смирнова, эволюции его эстетических взглядов или культурно-психологических объяснений его сложной личности. Во многом, вероятно, это связано с тем, что филологический и культурологический взгляд на фигуру Смирнова уже представлен в предисловиях и комментариях к опубликованным в последнее десятилетие его письмам к С. Делоне, Л. Вилькиной, В. Нувелю, В. Жирмунскому, Г. Шпету, А. Ахматовой, подготовленным такими крупными филологами, как Р. Д. Тименчик, А. В. Лавров, М. Ю. Эдельштейн, Дж. Малмстад и др.

Рецензируемая книга выдержана в объективно-доброжелательном тоне, с симпатией к герою — при всех его регалиях и успехах, человеку многими нелюбимому, и дает читателю обширный материал для собственных умозаключений относительно Смирнова, от которых и мы далее не сможем удержаться.

Нужно еще иметь в виду, что материалы о людях этого поколения неизбежно содержат незаполняемые лакуны; их собирание затруднено гибелью архивов при арестах и в блокаду (тут судьба Смирнова благополучна) и, как в случае со скудным личным архивом Смирнова в Институте русской литературы, принятием самим героем уничтожением следов прошлого.

В монографии последовательно рассматриваются этапы научной биографии Смирнова с опорой на его работы, воспоминания о нем и в большой степени на его письма, сохранившиеся в архивах других лиц, как опубликованные за время долгой работы над книгой другими исследователями, так и впервые вводимые в научный оборот (к Т. Л. Щепкиной-Куперник, Д. Е. Михальчи и др.).

Первоначальное формирование личности Смирнова отмечено семейной тайной незаконнорожденности, еврейским происхождением, о котором «все знали». Каганович приводит ему окончательные документальные свидетельства и совершенно избегает разговора о культурной значимости для Смирнова собственно промежуточного положения: «Я еврейский царевич, заброшен судьбой / В дальний край непонятных и чуждых людей. / Окруженный враждебно-холодной толпой, / Я влеку вереницу томительных дней» (из стихотворения Смирнова «Принц Иуда» (1905); подробнее см. в работах Лаврова и Тименчика).

Ранний этап биографии Смирнова, студента романо-германского отделения историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, где он считался одним из последних учеников А. Н. Веселовского, имел амбиции философа, был знаком с А. А. Блоком, Мережковскими, входил в круг «Мира искусства», реконструируется по его сохранившемуся в архиве (РГБ) сухому отчету

«Мой жизненный путь» (1946), а также по немногочисленным беглым упоминаниям о нем в воспоминаниях других лиц: «...блестящий — философ и „новопутеец“ в студенческом с тонным душком спортуке, с тонкой талией, с воротником, подпирающим уши; и он — говорил: о философе Канте».¹ В 1903–1905 годах Смирнов печатал философские и литературно-критические статьи в «Мире искусства», «Новом пути» и «Вопросах жизни», относительно которых Каганович сдержанно замечает, что это «сочинения еще очень молодого и не сформировавшегося человека, во многом наивно-ученические и декларативно-претенциозные» (с. 24–25). Стихи Смирнова, опубликованные в альманахе издательства «Гриф» за 1905 год, также не являются «особенно значительными в художественном отношении» (с. 25). Впрочем, внимание будущих исследователей мелочей эпохи, возможно, привлекут 30 неопубликованных стихотворений юного Смирнова, сохранившихся, как указывает Каганович, в отделах рукописей РГБ и РНБ (вероятно, эстетическая и стилистическая аморфность ранних сочинений Смирнова приводит к тому, что в библиотечных каталогах среди карточек с заглавиями его работ регулярно попадают по меньшей мере два других А. А. Смирнова, писавших под псевдонимами Арсений Альвинг (московское издательство) и альманах «Жатва») и А. Треплев (саратовский автор этюдов о М. Горьком)).

Настроения Смирнова следующего этапа его жизни — двухлетнего, 1905–1907 годов, пребывания в предоставленном университетом отпуске в Париже и последующих «первых лет в науке» (1907–1913), проведенных между Парижем и Петербургом, — восстанавливаются по письмам к Соне Делоне и Л. Вилькиной (Каганович сдержанно оценивает их как «едва ли до конца взвешенные» (с. 34)). В одном из них Смирнов пишет: «Если и раньше меня возмущали многие стороны русской жизни, многие черты „русской души“, то теперь я сознательно и окончательно отрекаюсь от своей национальности или, точнее, полунациональности». Также Каганович практически не обсуждает довольно безвкусную декадентско-эротическую стилистику писем Смирнова и его гигантские философские претензии («...пишу книгу, которая должна быть чем-то необыкновенным, гениальным. Она создаст эпоху в философии и в практическом мирозерцании, но будет доступна немногим, страшно немногим»), замечая, что «во всем этом был сильный элемент позерства, игры и эпатажа, иногда граничивших с инфантилизмом» (с. 35). Это, вероятно, справедливо, однако усвоенный Смирновым в те годы «своеобразный интеллектуальный эгоцентрический гедонизм» как форма взаимоотношений с окружающим миром (определение А. В. Лаврова) кажется небезразличным и для понимания его последующей советской карье-

¹ Бельый Андрей. Начало века. М., 1990. С. 458.

ры. Автор рецензируемой монографии интересуют прежде всего прослушанные Смирновым в Париже курсы по кельтологии, средневековому французскому и древневаллийскому языкам у таких классиков науки, как Жозеф Бедье и Анри д'Арбуа де Жубанвиль, обеспечившие ему репутацию уникально для России образованного медиовиста-западника.

В роли «петербургского приват-доцента» (1913–1917) Смирнов начал писать о Шекспире, однако две статьи молодого, несколько лет учившегося в Париже филолога, опубликованные в 1916 году к 300-летию со дня смерти английского драматурга, где автор пытается выявить какие-то самому Шекспиру неизвестные «подсознательные» мотивы, были оценены Б. М. Эйхенбаумом как «удивительно бледно написанные», «поверхностные»: «В самой постановке вопроса, в терминологии, в стиле есть что-то скучное» (цит. на с. 55). Перескакивая хаос первых пореволюционных лет, отметим, что и следующее ключевое выступление Смирнова в печати — статья «Пути и задачи науки о литературе», которой ознаменовалось его возвращение в Петроград в 1922 году и рецензии которой в книге Кагановича посвящена отдельная глава, по отзыву того же Эйхенбаума, представляла собой «легкомысленную провинциальную философию дурного толка, которую можно было слушать с некоторым вниманием только лет 10 назад», «„мудрость“ Гершензона, переведенную на язык университетской науки».² Архаичная на фоне русского формализма эстетическая ориентация Смирнова восходит, по мнению Кагановича, к Б. Кроче и К. Фосслеру. Добавим, что психологическая доминанта эстетических взглядов Смирнова подтверждается и его вышедшим два года спустя обзором «Новейшие русские работы по поэтике и литературной методологии» (Атенеи. 1924. Кн. 1–2), в котором он проявляет свои взгляды в нескольких коротких замечаниях: так, он уточняет определение Б. В. Томашевского, что в стихах, в отличие от прозы, «звуковое задание доминирует над смысловым», утверждая, что звуковое задание «выдвигается на первый план в апперцепции»; к общим положениям Жирмунского о соотношении рифмы и смысла добавляет, что они зависят от индивидуальных «нюансов поэтического переживания» поэта и читателя, и признается в сочувствии к интересу Б. Ларина к «органическому восприятию произведения, к интуиции» и к позиции А. Белецкого, исходящего в анализе литературных форм и приемов из «данных психологии творчества и психологии восприятия».

Несмотря на неблестящие первые выступления в печати, Смирнов, вероятно, имел высокую научную репутацию и широкие знакомства в литературно-научной среде, что позволило ему быстро выдвинуться и занять

прочное положение, став сначала заведующим французским отделом «Всемирной литературы», потом постоянным сотрудником издательств «Academia» и «Время», где он был одним из редакторов собраний сочинений и отдельных изданий Мольера и Мериме, Стендаля и Гюго, Мопассана и Ромена Роллана и др. Далее он на тридцать лет монополизировал советского Шекспира, а в 1950–1960-е годы почти вся французская литература XVII века, переводившаяся в СССР, выходила под редакцией Смирнова (в известной резкой формулировке О. Фрейденберг из письма Б. Пастернаку Смирнов выступал «откупщиком <...> художественных переводов, своего рода „капиталистом“ Литиздата» (цит. на с. 180)).

Каганович посвящает заключительную часть книги опровержению негативных оценок современниками человеческих и профессиональных качеств Смирнова, в том числе процитированного мнения Фрейденберг. При всей симпатичности этого этического возмущения было бы, возможно, продуктивнее интегрировать, пусть с оговорками, эти между собой схожие, т. е., вероятно, как-то отражающие реальность, характеристики (ср. шуточно-ядовитую характеристику М. Кузмина: «И кельтолог с невинной сапою / Медоточиво держит речь»; и дневниковое замечание вообще симпатизировавшего Смирнову переводчика-испаниста Д. И. Выгодского: Смирнов «занимает привилегированную позицию» и «труслив невероятно»³) в описание крайне сложной личности Смирнова. Приведем встающий в этот же ряд материал, ускользнувший от внимания Кагановича, из неопубликованной диссертации В. С. Полиловой «Рецензия испанской литературы в России первой трети XX века» (МГУ, 2012), где приводится переписка Смирнова (в описании соответствующей единицы в РГАЛИ поименованного Алексеем Александровичем) начала 1950-х годов с Г. И. Ярхо по поводу издания испанского средневекового эпоса «Песнь о моем Сиде», переведенного в начале 1930-х, с пионерской научной статьей и комментарием, репрессированным и умершим в 1942 году Б. И. Ярхо, а также по поводу переведенного вместе братьями Ярхо «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле. С пафосом обещая, что будет считать издание «Сиде» своим «священным долгом, и если только жизнь моя продлится, я добьюсь своего»,⁴ Смирнов довольно явно затягивал дело и, как кажется, старался не допустить прямого, помимо него, обращения Г. И. Ярхо в издательство: «Откликаюсь вкратце на то, что Вы пишете о „Сиде“. Конечно, Ак<адемия> Наук — естественное для него место. Представьте себе, что 2 или 3 <года> тому назад, этот вопрос был (не без моей инициативы через некоторых посредников) поставлен в редколлегии этой самой серии,

² Эйхенбаум Б. М. Вокруг вопроса о формалистах // Печать и революция. 1924. № 5. С. 7.

³ РНБ. Ф. 1169. № 48. Л. 12, 35; записи 1935 года.

⁴ РГАЛИ. Ф. 2186. Оп. 2. № 184. Л. 20–21; письмо от 1 ноября 1953 года.

в принципе издание «Сиды» было утверждено. Но тут (расскажу Вам все откровенно, опять — *entre nous*) произошло одно ужасное по нелепости событие. Известный Вам М. Л. Лозинский раза два в кругу друзей обмолвился, что он сам не прочь был бы перевести эту вещь и К. Н. Державин, ездивший в Москву и ведший об этих делах переговоры с В. П. Волгиным, сообщил ему об этом. Редколлегия очень обрадовалась этому и просила Лозинского составить план и указать сроки. Я был этим крайне раздосадован по двум причинам: 1) из-за перевода Б. И. и 2) из-за того, что знал, что с Лозинским ничего не получится. Так и случилось! Но неопределенность тянулась 2 года, и время было упущено. Поднимать этот вопрос сейчас невозможно. Никакого правовочного отделения этой серии в Л<енин>граде нет, все решает московская редколлегия. Она только что (в сентябре) утвердила двухлетний план (1954–1955) — (в кот<орый> так счастливо попал и Рабле, почему я так взволнованно и с энтузиазмом и писал Вам в сентябре) — и сейчас уже невозможно что-либо прибавить. Вам писать туда заявку и бесполезно и даже невыгодно, ибо мне, который занят и Монтенем и, почти наверно, Рабле, они поручать рассмотрение этого дела не будут, а могут кому-ниб<удь> другому, кто, пожалуй, еще даст неблагоприятный отзыв (ведь московские «испанисты» ужасны!), и тогда будет плохо. Давайте потерпим 1 год, и когда я сдам им I том Рабле и хотя бы I том Монтеня, я со своей энергией подниму вопрос о „Сиде“» (Там же). В результате перевод Рабле, который Смирнов взял «сначала посмотреть <...> келейно, чтобы при малейшей возможности выступить его адвокатом (решаться вопрос будет конечно не единолично мною, а коллегиально!)» под предлогом, «как бы уважаемые академики не испугались его очень близкой „точности“ и „стильности“». Кто знает, вдруг они — сторонники простоты, ясности и приличия (ведь фирма-то какая!)»,⁵ не вышел вовсе, а «Сид» увидел свет только после смерти Г. И. Ярхо, в 1959 году, с указанием «перевод текстов Б. И. Ярхо и Ю. Б. Корнеева; изд. подг. А. А. Смирнов». Как пишет Полилова, Смирнов, действительно сделав важное культурное дело, познакомив читателей с фундаментально научным и точным переводом Б. Ярхо (хотя и проредактированным Смирновым и Корнеевым), при этом в своих сопроводительных статьях к изданию «страницами цитирует предисловие Ярхо без его упоминания», весь подписанный именем Смирнова раздел «Комментарий» представляет собой сокращенный комментарий Ярхо, указатель имен собственных и географических названий целиком взят из его рукописи и также подписан именем редактора. Эта история, вероятно, показательна для этоса Смирнова как организатора и редактора переводных изданий, которого А. Д. Михайлов в устном разговоре с По-

лиловой назвал «деловым человеком, со всеми вытекающими из этого положительными и отрицательными последствиями».

Центральное, вероятно, событие в карьере Смирнова — начинающаяся с 1930 года и продолжавшаяся до последних лет его жизни работа над Шекспиром в качестве составителя многочисленных изданий, редактора, автора вступительных статей и комментариев — в книге рассматривается в основном на тех же архивных материалах, которые составили вышедший в 2013 году сборник (под редакцией Т. Г. Щедриной) «Шпет и шекспировский круг» (Каганович цитирует их по архивным подлинникам). Эти материалы позволяют составить достаточно полное представление о взглядах Смирнова на перевод, высказанных по поводу положенного им и Шпетом в основание затеянного в 1930-е годы нового собрания сочинений Шекспира принципа эквиритмии, и в прескриптивной методологической части статьи «Перевод» для «Литературной энциклопедии» (1934. Т. 8). Не будучи, в отличие от Шпета, ригористом метода, Смирнов был значимым представителем блестящей довоенной эпохи в истории советского перевода с ее презумпцией «адекватного» перевода как серьезной и объективной филологической работы, направленной на то, чтобы, по словам Гете, нам «отправиться к иностранцу и освоиться с его жизнью, способом выражения и особенностями». Естественно, Смирнов был противником «намеренной свободы» Пастернака в отношении к оригиналу, о чем детально свидетельствует отдельный экскурс рецензируемой книги «А. А. Смирнов и пастернаковские переводы Шекспира: 1940-е годы». Сразу становится понятно, сколь болезненной для Смирнова должна была быть работа в конце 1950-х годов над новым полным собранием сочинений Шекспира, ставшим на долгие годы дефинитивным для отечественного читателя: в послевоенные годы органически близкую Смирнову довоенную идеологию «адекватного», «воссоздающего» художественно-филологического перевода победила новая идеология «реалистического», ассимилирующего перевода (И. Кашкин, Н. Любимов, К. Чуковский) с абсурдным тезисом о переводе «не точном, но верном», и Смирнову пришлось пойти на компромисс (его соредaktor А. А. Аникст «согласился на Радлову», Смирнов «согласился на Пастернака»), фактически перечеркивающий его работу над Шекспиром 1930-х годов: авторитетным редакторским именем Смирнова было подписано издание, где «Король Лир» был дан не в точном (выдерживающим вышедшее в 1930-е издание *en regard*) переводе высоко ценимого им М. Кузмина, а в переводе Б. Пастернака (неточность которого по меньшей мере затрудняла комментирование), «Макбет» — в переводе не М. Лозинского или А. Радловой, а плодотвейшего Ю. Корнеева, «Бесплодные усилия любви» (переведенные в 1930-е годы Кузминым) были заказаны Чуковскому (перевода, к счастью, не представившему, однако был дан новый пере-

⁵ РГАЛИ. Ф. 2186. Оп. 1. № 194. Л. 9; письмо от 14 октября 1953 года.

вод неутомимого Корнеева), «Виндзорские смешницы» и сонеты — в переводе не Кузмина, а С. Маршака, о которых Смирнов ясно знал, что это «не адекватный перевод, а превосходный субститут». Особенно досадна утрата сонетов в переводе Кузмина. Каганович уверен, что у Смирнова их не было (с. 165), однако из комментария Г. Морева к «Дневнику» Кузмина 1934 года, на который ссылается автор книги, можно сделать и другой вывод: сонеты в переводе Кузмина были в 1931 году включены Смирновым в издательский план «Academia», после смерти поэта планировалось их издание под редакцией Смирнова — вероятнее всего, он имел на руках тексты переводов. Тут вновь особенную досаду вызывает вычищенность личного архива Смирнова, уничтожившего, вероятно, огромный объем писем к нему и материалов других лиц.

Культурный тип, действительно ярко воплощенный в фигуре Смирнова, очень сложен и непрозрачен, и книга Кагановича дает ценный материал для его описания. Интеллектуально сформировавшийся в предреволюционные годы, в европейско-петербургской, декадентско-академической среде, и сумевший стать успешным в советское время, Смирнов десятилетиями не был собой (тут знаменательны общие обстоятельства незаконнорожденности и «не своей» фамилии в первоначальном формировании Смирнова и Чуковского, враждебно близкого ему в области монополизации перевода; вероятно, возможность советского преуспевания обеспечивалась вообще свойствами им психопатическими чертами личности, ср. в приводимых Кагановичем воспоминаниях востоковеда Б. Н. Заходера, знавшего Смирнова в ярославской эвакуации: «Очень любит позу ребенка, который должен вызывать жалость (и вызывает в самом деле), но легко и уверенно захватывает то, что ему удобно в жизни, не стесняясь принципиальными соображениями (взятые обещания, престиж видного ученого). Конечно, все это не грубо, а со страданиями (не очень большими), кокетливыми излияниями и т. д. <...> расчетлив безумно, жаден, помнит все, вплоть до мелочи. Европейско-петербургский человек снаружи, внутри — кулак и игрок. Тип сложный и прелюбопытный» (цит. на с. 224)). Фундаментальными травмами, раз за разом ломавшими людей и в целом отечественную науку и культурную среду, были и «большой террор», когда аресты шли непосредственно вокруг Смирнова, и, как ярко показало недавнее двухтомное документальное исследование П. А. Дружинина «Идеология и филология» (М., 2012), «борь-

ба с космополитизмом» («Какой был остроумнейший *causeur* в молодости А. А. Смирнов, Шурочка, как мы его звали, — записывает в эти годы в дневнике Л. В. Шапорина. — А теперь — перепуганный, заваленный работой, боящийся слово произнести», и далее приводит его слова: «Нельзя жить, нельзя дышать. Зачем жить?»), и «сумерки сталинизма» (1949–1952 годы), когда Смирнов, как и многие, укрылся в филармоническую страсть и шахматы. При всей успешности своей советской карьеры Смирнов, как кажется, преуспел не так и не в том, в чем хотел и к чему готовился: как ученый он, вероятно, был прежде всего кельтологом, но академическую его карьеру нельзя назвать в полной мере блестящей: докторскую диссертацию он защитил «по совокупности», в члены-корреспонденты Академии наук не был избран. Заняв, несомненно, очень выгодное положение редактора-монополиста, главного советского шекспироведа, он так и не смог написать своего главного «по гамбургскому счету» труда. Кажется даже, что люди одного с ним круга с гораздо более трагическими судьбами, как А. Н. Егунов, И. А. Лихачев или Т. Г. Гнедич, выйдя из лагерей в 1950-е годы, остались внутренне в гораздо большей степени собою, чем сравнительно благополучно живший все эти годы Смирнов. Заплаченная им «дань обстоятельствам времени», о которой часто говорит Каганович, была очень велика.

Интересно было бы понять, что сам Смирнов в конце жизни считал значимым в своей научной биографии и поместил в итоговый сборник «Из истории западноевропейской литературы» (1965), включая, как указывает Каганович, предназначавшиеся для него, но не вошедшие из-за превышения объема статьи о Мериме и Мопассане, а также неопубликованную и сохранившуюся в издательском архиве большую статью «Жан Расин» (с. 204–205). В ней «тонкий анализ психологии и поэтики Расина выдержан в очень „смирновской“ стилистике, достаточно необычной для советской литературоведческой манеры тех лет» (с. 204) — вероятно, имеются в виду «теплые, проникновенные, почти лирические тона» (с. 206) работ, которые Смирнов писал относительно вольно. Этих же качеств он искал в переводах (ср. в его последней неопубликованной статье 1961 года о русских переводах Шекспира: «Стих М. Л. Лозинского восхитителен, виртуозен, блестящ, но холодным ледяным блеском. Где та теплота, непосредственность, которые составляют, однако, одно из главных очарований Шекспира?» (с. 217)).